



Ирина Евса

Лифт

Ирина Евса

Лифт

Москва

«Воймега»

2017

УДК 821.161.1-1 Евса
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Е25

Дизайн серии: Сергей Труханов

И. Евса
Е25 Лифт. — М.: Воймега, 2017. — 72 с.

ISBN 978-5-7640-0201-9

© И. Евса, текст, 2017
© С. Труханов, оформление, 2017
© «Воймега», 2017

* * *

Когда исправно кормишь голубей
и норовишь, чтоб ветры дули в спину,
когда любовь к живущему слабей
тоски по тем, кто нас уже покинул,
когда один лишь путь наверняка —
от конуры до ближней бакалеи,
вдруг ниоткуда выплывает строка:
...но продлевая гибель Галилеи...

Как отдалённый гул товарняка.

И долго смотришь, как дрожит щека
у старика на ледяной аллее.

Ноябрь

На зелёном — снега ворсистый хлопок.
Но ещё у моря стоит палатка,
чей жилец отчаянный столько стопок
взял на грудь с утра, что зевает сладко.
Сухогруз на привязи ждёт ремонта.
И торчат, в промозглую высь воздеты,
искривляя линию горизонта,
облаков эльбрусы или судеты.
Залегли рулонами серой бязи
волны в целлофановой упаковке.
Отключи мобильник: не стоит связи
та держава, что не сулит парковки
твоему облезлому тарантасу.
Лучше с пьяным пастором автостопа,
в два притопа греясь и в два прихлопа,
наблюдать, как пересекает трассу
мокрый снег и, фары тараща, фура
мчит на Керчь; её достаёт в полёте
нервной чайки жалоба, словно сура,
обрываясь на дребезжащей ноте.

* * *

Не умела утешить словом, поплакать вместе —
мол, жених убежал, ну что ж, повезло невесте, —
извлекать, как факир, надежду из-под полы.
Легче было обед состряпать, помыть полы,

стол накрыть, протереть до блеска ножи и вилки
и в ближайшем ларьке лекарство купить в бутылке:
«Что душа твоя хочет — водочки, коньяка?»
Денег дать, наконец, — уж это наверняка?

Никогда никого загнать не умела в угол,
но терялась, когда обидчик бывал напуган.
И затравленный взгляд всегда заставлял врасплох.
Бить под дых не хотела, зная, как труден вдох.

Но как странно: и в первом случае, и в последнем
результат безнадежным был, а не то что средним.
Прав Господь иудейский, зрящий сквозь темноту,
осуждающий всяких действий неполноту?

Та, что слёзы лила, смахнула мои подачки.
Оклемавшийся враг меня обругал в горячке.
Я, трамвай прозевав, по снегу плелась одна —
что поделать? — ни горяча и ни холодна.

Пейзаж с кирпичной стеной

воскресной спячкой перевиты этажи
подолгу свет не зажигается в бараках
усердьем запада одетые бомжи
в помойных баках ковыряются во фраках

светает медленней чем хочется душе
зрачок из мрака извлекает бестолково
двора заснеженного стёртое клише
и гастроном эпохи царствия хрущёва

прогнившей раме утепление не в прок
метель за стёклами наслаивает горку
собачья тень с крыльца свершивши кувырок
и тень бомжа урча включают в разборку

за эту косточку огрызок пирожок
за всё что родина заботливо стрепла им
покуда дворника судейский сапозок
озлясь не вклинится меж ропотом и лаем

и небо цвета потускневшего фразе
а не жемчужное как мыслил межелейтис
рождает строчку на кирпичном витраже
парламентарии всех стран совокупляйтесь

* * *

Не умеешь выжить — ползи в собес с непокрытой головой.
Депутата огненный мерседес лихо мчится по кольцевой.
Скор слуга народа: он снял модель прямо с конкурса и как раз
с молодой подружкой летит в мотель под звучащий в салоне джаз.
Он машину гонит на красный свет и не знает, что некий N
в девять тридцать вышел из пункта Z в ожидании перемен.
Но Генералиссимус всех систем депутату не крикнет: «Стоп!» —
в миг, когда тебя он сожмёт затем, чтобы въехать в ближайший столб;
чтобы ты в одной из привычных поз в нарушение всяких квот,
словно в рай, на втянутом брюхе вполз на блестящий его капот.
Сюзерен, забывший про тормоза, раб, мечтающий о тепле, —
вы сейчас впервые глаза в глаза сквозь дыру в лобовом стекле.
Обложи его напоследок, врежь проходимцу и стервецу!
Но глядишь бессмысленно в эту брешь, что свела вас лицом к лицу.
И уходит вверх поминальный блюз, просочившийся из дыры
меж двоих, что лягут в корзинки луз, как столкнувшиеся шары.

* * *

В узких окнах — завитками вытканый мороз.
Манка сладкая с комками. Полтарелки слёз.
В коридоре запах ели: скоро Новый год.
Молодой отец в шинели нервно маму ждёт.
Не вертя башкой обритой, — что мне, мол, до вас? —
я даплюсь большой обидой, кашляю, давясь.
Взгляд у мамы виноватый, но броня крепка:
«Не реви. Побудешь с Натой. Мы ушли. Пока».
Ната в байковом халате. Трёт сковороду.
Страшно впасть в немилость к Нате: «Не доешь — уйду!»
«Баю-бай, — гудит Наташа, — ночь зашла в подъезд.
Спи, не то старуха Каша нашу детку съест.
Будет Каша бить баклуши, убежит на юг».
Голос Наты тише, глуше. Нет его...

И вдруг
просыпаюсь в липком страхе с холодом внутри.
В длинной путаясь рубаше, шлёпаю к двери.
Всё не там, не то: будильник, ваза на столе.
Словно голубь, холодильник булькает во мгле.
Кран по капле цедит воду. Пусто. Никого.
Выключатель там, где сроду не было его.
И над всем, не совпадая с тем, что снилось мне,
голова торчит седая в кухонном окне.
«Ну, привет, старуха Каша», — щурясь, говорит.
...Сигаретка «мэйд ин раша» гаснет, не горит.

* * *

И трудно до Бога слезу донести
сквозь ветер и снег. Собирайся, пора нам.
Но юность, беспечная, как травести,
затихла и съёжилась в тёмном парадном.

Ей зябко. И кончики пальцев красны.
А тот, кто за ней увязался случайно,
не так увлечён, чтобы ждать до весны,
с морозными окнами полночь сличая.

Он жаждет развлечься. Ему ни к чему
ущербных окраин тоска даровая.
Зрачок сигареты, плывущий во тьму,
влетает в сугроб у подножки трамвая.

Зачем нам дано оглянуться назад —
младые печали до дна исчерпавшим, —
в трамвае, что шагом почти черепашным
сквозь сумрачный город ползёт в снегопад?

Тайная вечеря

Анне Павловской

В той комнате стонадцать лет назад,
где нищего художника азарт
творил на стенах странные сюжеты,
сидели мы на влажном сквозняке,
и острый карандаш крутил в руке
врач-психиатр, слагающий сонеты.

Итак, семь карбонариев в ночи,
склонялись мы над пламенем свечи,
клянясь остаться строчками в народе.
И пылко, как революционер,
над нами воспарял Аполлинер
в плохом, но всем доступном переводе.

А тот, кого любила я, молчал.
И в поисках знакомого плеча
я часто отвлекалась от событий,
происходящих в комнате; верней,
от дребезжащих фраз, скрещённых в ней
в пылу духовных, в общем-то, соитий.

Вкушая хлеб и красное вино,
не знали мы, что всем нам суждено
по воробьям всерьёз палить из пушки.
Взор психиатра мрачен был и мглист.
И кто-то мне шепнул, что он — чекист
и скоро все мы встретимся в психушке.

В окно сочились запахи весны.
И плосколицый ангел со стены
нас осенял стрекозьими крылами.
За ним тянулись рыжие волы,
и женщины — летящие — из мглы
светили удлинёнными телами.

Но тот, кого любила я, вполне
был трезв. Не обозначась в тишине,
он с напряженьем вслушивался в строчки.
И густо — между локтем и плечом —
конторским красноватым сургучом
замаран был рукав его сорочки.

Уже потом — в развёрнутом досье —
напишет он, что общество сие
почти безвредно, ибо глуповато;
что души всех легко заполучить,
а психиатра можно приручить
изрядным повышением зарплаты.

...Но в комнате, где стены как алтарь,
но в комнате, где, Господи, не тварь
дрожащая, а дух, блажен и вечен,
где нет «потом», а есть одно «теперь», —
я так ждала, что он закроет дверь
на ключ. И я качнусь ему навстречу.

* * *

Говорил же мой дядя, носитель славянской души:
«Стань училкою в школе.
А дурацких стишков, мол, *готов рассказать тебе поле*, —
будь добра, не пиши».
Но с берёзками томик я шпарить могла назубок.
Бормотала, бубнила.
На корявые строки, пыхтя, изводила чернила —
выпекала лубок.
И такой, как в тринадцать, я славы не знала потом
ни в чужом и ни в отчем.
Пальцы веером, дыбом власы — вдохновение, в общем.
А уж сколько понтов!
Вот начни с Ломоносова или с Державина я,
и глядишь, дядя Коля,
человеком бы стала, разболтанных неучей школя, —
долг, заботы, семья.
Но сломалась на малом: *готов рассказать тебе поле*.

* * *

Ну ладно — что сказали, то сказали.
Выбеливая чёрные стволы,
снег валится. Его везут возами
там, наверху, белёсые волны
затем, чтоб растрясти на повороте,
засыпать трассы тёмную тесьму,
где ноту держит, словно Паваротти,
ночная неотложка, мчась во тьму.
Снег завалил почти до половины
кафе, где мы, пресытившись теплом,
сидим, беззвучны и неуловимы
для внешних бед, как мухи за стеклом.
Жуём, глотаем, в промежутках курим —
уже не в куще, но ещё в раю.
И за свободу, как евреи в Пурим,
пьём, но отныне — каждый за свою.
Торчат машин горбатые сугробы.
Мигнула в крайнем пара красных глаз,
и он пополз, буксуя... Всё могло бы...
Жизнь состоялась, но не задалась.

Поезд Киев — Харьков

...В зелёных плакали и пели...

А. Блок

Нет, не пели — пили. Стихи орали.
Поливали глянцевую столицу —
мол, какие на фиг там фестивали:
лохи в зале — можно ли не напиться?
Да ещё к тому же мороз под тридцать.

Мы в купе соседнем тряслись от злости —
как достала эта четвёрка! В стену
им стучали, всем перемыли кости,
потушили свет, исчерпавши тему.

Но уснуть — никак: задувало в щели,
негодяи тешились молодые...
И хотелось встать, наступать по шее
или, как теперь говорят, «по дыне».

Отобрать бутылку, усталым нервам
дав покой; пугнуть, не входя в детали...
Я уже не помню, кто прыснул первым.
Но до слёз, до колик мы хохотали,

вдруг расслышав реплику: «Нашим старцам
спать мешаем...» Грохот. И тихо стало.
И пока мелькали названия станций,
я, в пальто закутавшись, бормотала:

«Всемогущий, в сотнях Твоих декретов,
сообразно чину, стою на “ща” я.
Но, вердикт подписывая, поэтов
поголовье яростно сокращая, —

не дарящий нам никаких посулов,
всё ж туда направь Свой фонарик, Боже,
где Леонтьев, Дмитриев, Караулов,
матерщинник Бауэр... да, он тоже!»

* * *

потому что не топят, а стужа — всерьёз...
потому что серпами командует молот...
потому что везущая хворосту воз
не случилась, а воздух ознобом исколот...
потому что затейливо врёт депутат,
как паук, охраняя свои антресоли...
потому что низы выбирают диктат,
до отвалу наевшись дарованной воли...
потому что в снегу крестовина окна...
потому что ни знамения в небе, ни знака...
потому что к Марине — туда, где она, —
опоздало навеки «прости» Пастернака...
потому что посуда не мыта три дня...
потому что воротит от пива и пиццы...
потому что дружки, позабыв про меня,
намывают свои золотые крупницы...
потому что и лучший, кто пас да не спас,
к теплокровному краю направил ветрила...
потому что и боли исчерпан запас,
и темно, и не топят, как я говорила...

* * *

Утром, помятый и жёлтый, как воск,
припоминая вчерашних гостей,
выползешь в тапках в ближайший киоск
за новостями — а нет новостей.
Собственно, нет ничего. Не видна
пятиэтажка с пивною внизу.
Только струящаяся белизна
режет глаза, вышибая слезу;
словно крылатый ОМОН без труда
личность твою на горячем засёк
и, поразмыслив, отправил туда,
где наконец-то ответишь за всё,
лыбясь в похмельном, дурном кураже,
мелочью в левом кармане бренча,
не просекая того, что уже —
ни адвоката тебе, ни врача
там, где зима, закатав рукава,
точно душевнобольная швея,
спешно сшивает свои кружева
с дышащей неполнотой бытия.

Переписка

Пишет Весам Водолей: «Приезжай сюда.
Пусть не развеселю, но скучать не дам.
Хочешь, мы, невзирая на холода,
в Дрезден с тобой смотаемся и в Потсдам?»

Пишут Весы Водолею: «Давай махнём
в Крым! Там в ночи — плюс девять, семнадцать — днём.
И у моих приятелей во дворе
розы цветут, ты вдумайся, в декабре».

Пишет Весам Водолей: «Не могу. Прости.
Я здесь не на плаву, а на самом дне.
Всех сбережений хватит на треть пути.
Как ни крути, а лучше уж ты — ко мне».

Пишут Весы Водолею: «Просрочен мой
паспорт, а с новым столько теперь возни!
И вообще: тащиться в Берлин зимой...
Видимо, не получится. Извини».

Пишет Весам Водолей: «Я пятнадцать лет
не был в отчизне-мачехе. Ты поверь,
если б не пресловутый в шкафу скелет,
я бы давно в твою постучался дверь».

Пишут Весы Водолею: «А в той, другой,
что как родная мать прикормила вас,
быстро ль привык не вздрагивать, дорогой,
от ежедневных “шнеллер” и “аусвайс”?»

Пишет Весам Водолей: «Как я мог забыть?
Вы ведь чуть что — под дых».

«Поясню грубей, —
пишут Весы Водолею, — на всё забить
смог ты когда-то? Вот и сейчас забей».

* * *

В общем, спрашивать не с кого —
разгребать доведётся самой.
Жизнь спиной Достоевского
в подворотне мелькнула сквозной.

И застряла в бомжатнике,
где, надежду послав далеко,
сепараты и ватники
забивают козла под пиво.

Темень хрусткую комкая,
намывая сугроб на углу,
крупка сыплется колкая.
Примерзают костяшки к столу.

Митрич, Шурка безбашенный,
что к сеструхе забрёл на постой,
Лёнька с мордой расквашенной,
Витька Череп из двадцать шестой.

Не стерпев безобразия
и шального боясь топора,
полукровка Евразия
отрыгнула их в зону двора.

Им, с ухмылками аццкими
прочесавшим Афган и Чечню,
чёрно-белыми цацками
в этот раз не позволят — вничью.

И — сквозь драное кружевец
лип заснеженных — стол дармовой
продирается, кружится,
ввысь четвёрку влача по кривой.

То сбивает впритирочку,
то мотает попарно в пурге.
И у каждого бирочку
треплет ветер на левой ноге.

Снеговик

Ты ещё летуч, неуловим.
Но айтишник Вова,
словно шестикрылый серафим,
спустится с восьмого.

Дерзкий повелитель мегабит
нагребёт, подхватит,
через двор — как сматывая бинт —
снежный ком покатит.

И уже белеешь напоказ,
радостный уродик:
нос — морковкой, пуговицы глаз
и подковкой — ротик.

Растолкав глазающих старух,
юзер-задавака
драный, молью траченный треух
выудит из бака.

Ты сработан. Вот он, твой народ:
топчется задаром,
скачет, изгаляется, орёт,
дышит перегаром;

жжёт, зигуя; требует суда
пересохшим горлом.
Виждь и внемли. Что ещё? Ах, да:
жги сердца глаголом.

* * *

Павлу Крючкову

Сосны тёмным полукругом. Снег. Звезда в семнадцать ватт.
Ослик вздрагивает, руган. Ослик вечно виноват.
Не избежать колотушек. Соль в ресницах. Боль в заду.
Но не он, слетев с катушек, прикрутил в ночи звезду.
Нет, не он в дурную среду проложил следов курсив,
чтоб сарай спалить соседу, провода перекусив.
И не он, почуяв запах крови, пороха, бухла,
в бойню вверх восток и запад приграничного села.
Но ушастому не внове подставлять бока и на
хоровое: кто виновен? — отвечать: иа, иа,
под ночным топча обстрелом глины мёрзлую халву,
видя мир большим и белым сквозь пробойну в хлеву.

* * *

Если страх — какого тебе врача?
Это снега тающие пласты,
с крыш на землю валятся, грохоча,
а совсем не то, что подумал ты.

Был сметлив, как рысь, и здоров, как лось.
Нахлебался бед, но не лёг под них.
Всё, чего боялся, уже сбылось:
ты за каждый вдох получил под дых.

А теперь трясешься, держа в уме,
что молчать — безбожно, кричать — нельзя.
И когда шутихи трещат во тьме,
ты мычишь, к несущей стене ползя,

что пришёл обещанный тохтамыш
разнести хибару, где ты живёшь,
в щель забившись, как полевая мышь,
или в складку — как платяная вошь.

* * *

Разглядишь (стекло, где опять зима,
протерев дырявою рукавицей),
как лежат на тёплой спине холма
двое беглых: отрок с отроковицей.
На фи́га им алгебра и физра,
если здесь цикад воспалённый скрежет —
словно сверху спущенная фреза,
дребезжа, разглаженный воздух режет.
Как пугает шорох в борщевике!
Но гадай, зажмурившись, — кто там, кто там:
то ли это ящерка — по щеке,
то ли пчёлка чиркнула мимолётом?
Двое беглых — можно сказать, волчат, —
интернатом взятые на поруки.
Их вот-вот каникулы разлучат:
он уедет к бабушке под Прилуки.
А потом покатится, как с холма:
одному — война, а другой — Лубянка...
— Ну, ты что? Ты что? Не сходи с ума.
Это просто бабочка-голубянка.

* * *

Непостоянство вещи. Её разлад
с временем, что исправно берёт своё.
Это льняное платье длиной до пят
предполагало жить, но оно — тряпье.

Траченный молью плащ (в нём уездный фат
лихо пленял сердца молодых вдовиц)
взят огородным пугалом напрокат
и рукавами машет, гоняя птиц.

Кнопки, крючочки, пёстрая мишура.
Время слежалось в складках, прогнув корсет.
Там, где онодохнуло, — ожог, дыра,
трещина, из которой сочится свет.

Вещи — пустые коконы, мотыльки,
высохшие меж стёклами. Прах. Пыльца.
Не зарастает, времени вопреки,
в белом мундире дырочка от свинца.

Приготовление ужина на закате солнца

Мать говорит: «Дурного с ней не случится...» —
но у подруги дёргается щека,
она представляет бритву, петлю, курка
кроткий щелчок и сыплет в салат корицу
вместо привычных перца и чеснока,
через минуту ей уже мнится скрежет
скорого, перекошенный крик окна,
мать достаёт батон, аккуратно режет
и продолжает фразу: «...поверь, она
любит себя поболее, чем всех нас», — свежий
запах укропа густо идёт со дна
глиняной миски... — «Если не будет дурой,
выйдет за перспективного старичка», —
мать не в ладах с высокой литературой,
пальцы подруги пепел роняют в бурый
утренний кофе в поисках мундштука,
обе они не знают, где ты сейчас,
просто готовят ужин,
время от времени глядя в окно...
Сочась,
солнце стекает с красного кирпича
и закипает в луже...

Лифт

Жестяное облако, что блесна,
над пожарной плавает каланчой.
А весна в отчизне как лифт тесна
И слегка припахивает мочой.
Отхлебнёшь для храбрости граммов сто,
загасив бычок о рекламный щит, —
и нырнёт в желудок та мышца, что
учащённо в рёбра твои стучит.
Рассекая сумрачные слои,
а потом — лазоревые, к толпе
приглядишься: Господи, все — свои,
даже этот, с пейсами и в кипё;
и поддатый дядька, в приливе чувств
в твой рукав вцепившийся (ну и тип!);
и дитя, чей розовый чупа-чупс
к тёмно-серой куртке мента прилип.
...Недолёт опасней, чем перелёт.
Но сейчас ты думаешь о другом:
«Рай, наверно, пахнет, как Новый год, —
мандарином, яблочным пирогом.
Там в гусиной коже огурец,
как живой, блестит из густой хвои;
и не скажут: “Гад, получи в торец!”
Нет в раю торцов, да и все — свои».
...Но кому-то шею уже свело,
кто-то ропщет в спину: «Убрать бомжей
и жидов!» А ты им кричишь: «Всего
и осталось — несколько этажей...»

И летит набитый людьми кристалл,
преломляясь в солнечной полосе.
И никто не знает, как ты устал
повторять: «Без паники: выйдут все».

* * *

Мы уже на верхнем, кажется, этаже.
Там, внизу, водитель возится в гараже,
на макушке клёна — голубь, а на балконе
некто рыжий курит в утреннем неглиже.

Молодой листвою подрагивает квартал.
Не ругай меня, я знаю, что ты устал.
Всё плывёт, и дом качается под ногами,
как подрывтый грубым варваром пьедестал.

Но лоскут весенней сини дрожит в окне,
золотясь, как рай, который не светит мне,
а тебе обещан — если охранник хмурый
перекроет вход, то лишь по моей вине.

И пока молчат небесные опера,
мы с тобой зависнем над пяточком двора,
ты — бутылкой пива тёмного, я — сигаркой
отгоняя тех, кто вправе сказать: «Пора».

Считалка

Под весенним сквознячком
навзничь — ты, а я — ничком.
Мы прикончили друг друга,
так сказать, одним щелчком.

— Как ты? — В норме. — Больно? — Нет.
Проживём ещё сто лет.
У тебя пробита каска,
у меня — бронежилет.

За метёлками осин —
солнца красный апельсин.
Золотыми облачками
над телами повисим.

Злись не злись, а всё равно
ветер нас собьёт в одно.
Что замешкался, пехота?
Поспешим: уже темно.

Хорошо — хлебать в тепле
щи с добавкой и т. п.
Тишь да гладь в раю солдатском.
Часовой на КПП.

Когда-то

Но были там они, ведя игру
Миров...

В. Набоков
*«Бледный огонь»**

Стол со скамьей во дворе
и дыхание подвальных глубин
затхлое в том сентябре,
что к тебе нас бездумно прибил.

С пятого (бьюсь об заклад)
этажа увертюра Массне
льётся, впадая в закат,
беспородный, как «Біле міцне».

...Так хорошо мы сидим,
вчетвером, как ни разу потом.
Банка дешёвых сардин
и нарезанный крупно батон.

Блещет щербатость двора
озерцами бензиновых луж.
«Жизнь, — говоришь ты, — игра
в дурака, и на вылет к тому ж.

Кстати, а как про игру
у Набокова в “Бледном огне”,
помнишь?» Скорее умру,
чем признаюсь, что нечего мне

* Перевод с англ. Александра Шарымова.

вспомнить. И мямлю: «Ну да.
На английском? А что за строка?»
Лучше б сгореть от стыда
мне в огне этом! «Ладно, пока,

друзи». И смотрим втроём,
как в плаще ты идёшь через двор.
...Всех нас в отчёте своём
упомянет настырный филёр,

тот, что, с обуви сырой
соскоблив непросохшую грязь,
вражий припишет настрой,
а ещё — с диссидентами связь

мне, размышляющей лишь
об одном (кто бы в чём ни винил):
всё же — в четверг позвонишь
или в пятницу? Не позвонил.

* * *

Ты меня не забудешь, не сомневаюсь в этом, —
не случилось такого, чтобы поэт поэтом
был покинут: внизу — разлад и горшки побиты,
но вверх шелестят курсивы или петиты.

Ты меня не забудешь вот по каким причинам:
нас, во-первых, венчал не звон величальных стопок;
во-вторых, ты уж точно знаешь, что счёт морщинам
открывают не склоки в полночь, а строки в столбик.

На трюизм не собьюсь: мол, всё же один из тысяч...
Ты тянулся ко мне не только чтоб искру высечь
меж телами, свой корм клюющими в одиночку,
но ещё и затем, чтоб строчка ловила строчку.

И не важен пейзаж с холмами — могла равнина
быть и вместо квартиры съёмной — шалашик в роще,
где выдавшая виды, выцветшая рванина
прикрывала б не хуже прочего наши мощи.

Не имеет значенья, с кем я, кого сейчас ты,
из какого котла хлебаем и так ли часто
не такси, не ДК, не номер другой конторы
набирает рука, забывшись, а тот, который...

Форум русистов

Зал — человек распахнутой дверью ловил.
Щурилась Ялта, огнями объята, как Троя.
Вечер поэзии и дегустация вин.
Поколебавшись, русисты избрали второе.

Главный по винам воистину был языкат.
Правда, русисты не всё принимали на веру,
пробуя чинно мерло, каберне и мускат
Красного Камня, но предпочитая мадеру.

Рядом поэты читали, угрюмо тихи,
группе непьющих, точней семерым самураям,
стойко молчавшим, пока не иссякли стихи,
молча ушедшим — ни пуха вослед, ни пера им.

Пусть! Мы в отместку сбежим от учёных пьянчуг
праздно шататься по долгому парку Алупки,
где обитающий средь мавританских причуд
ветер вздувает магнолий шуршащие юбки.

Сядем в маршрутку и — к чёрту ухмылки и гул
сонной элиты, что дружно пила и жевала.
...Но, выходя, засекли мы, как смачно икнул
некий редактор побитого молью журнала.

* * *

Почему им, Всевышний, всем по ночам не спится? —
нагишом обживают кухню, включают свет,
допивают мартини, разогревают пищу;
курят — утром не досчитаешься сигарет;
разрабатывают, как маршалы, планы мести;
в коридоре бренчат ключами, надев плащи;
оставляют свои записки на видном месте:
мол, финита всему, отныне ищи-свищи;
но приходят опять, чтоб рыться в бумажном хламе,
истерично рыдать, улику зажав в горсти,
эти рыжие с перламутровыми телами,
эти смуглые тёмно-русые травести;
расставляют на полках тюбики и флаконы,
сковородки сжигают, вяжут тебе носки;
покидать не желают взятые бастионы,
постепенно круги сжимают, беря в тиски.
И, до точки дойдя, ты всех посылаешь громко,
отвоёвываешь позиции: кыш, орда!
Но уже через пару дней наступает ломка,
до костей пробирает, гонит тебя туда,
где на стенке кофейни брезжит пейзаж Винсента,
а у стойки к шести — весёлая толкотня;
где курильщицы, где любительницы абсента,
вымогательницы, глотательницы огня.

* * *

Шумные, словно античные боги,
в древних Отузах ползём по дороге.
Ноет дитя, мельтешащий у ног,
к нам приблудившийся, лает щенок.

Сколько молчанья в безлиственных лозах,
слева застывших в трагических позах, —
клоны Медеи, сошедшей с ума.
Морщится сторож: такая зима.

Вот оно, озеро это лесное.
Здесь и достанем вино разливное!
Сыра косичку, лепёшки кругляш.
Хнычет ребёнок: он хочет на пляж.

...Как ни крути, а карабкаться надо
в гору вдоль каменных чаш водопада,
где асфодели на склонах цветут.
Надо, но лучше останемся тут

в небо глядеть, опираясь на локоть,
пить, огурцы малосольные лопать,
вирши чужие бубнить вчетвером,
в то, что античные, что не умрём,

веря, как эти у глади озёрной —
вредный ребёнок и пёс беспризорный —
на загрубелой от зноя траве
впавшие в сон — голова к голове.

* * *

Но ещё ты спал под лепет ависаги,
даже не закрыв
хлипкого окна в нетопленной общаге
с видом на залив.

Спал, пока за мной осенней масти колли
топала туда,
где с пяти утра стояли на приколе
пришлые суда;

где немолодой, но всё-таки повеса
юной визави
тщился втолковать за чашечкой эспрессо
тонкости любви.

Истончаясь и дробясь, покуда спал ты
под рассветный бриз,
низкий полз туман вдоль набережной Ялты,
изымая из

бытия — лотки, помпезные фронтоны
и — невдалеке —
пирс, над коим птиц бесшумные фантомы,
заходя в пике,

падали туда, где на ребристом глянце
жидкого свинца
багровел буёк, подрагивая в танце
головой пловца...

Выразив протест витрине магазина,
продолжавшей спать,
тощая, ко мне прибившаяся псина
потрусила вспять —

не к пустым ларькам, но в сторону
пригорка,
где, болтаясь на
треснувшей петле, поскрипывала створка
твоего окна.

* * *

Что сегодня за день? — Очевидно, среда.
В тёмной кроне — подвижные пятна лазури.
Отвяжитесь: он спит и не смотрит сюда.
Домочадцы его осторожно разули.

Где упал, там и спит, губошлёп-маргинал,
головой упираясь в дубовую кадку.
Муравей, любознательный, как Магеллан,
изучает его загрубелую пятку.

Шевелюры измяв низкорослым лесам,
лёгкий ветер гоняет мурашек по коже.
Отвяжитесь — он стар. Он уже написал
всё, чем нынче смущён, чем возвысится позже.

Рухнул в дрёму, как в тартар, и к чёрту — дела:
все гексаметры ваши и ваши верлибры.
Конопатая Фрина, и та не дала,
на простуду ссылаясь... Ах, Фрина, их либе

в дых... Растрочен запас, заготовленный впрок.
Но душа не готова примкнуть к балагану.
И репризы Эзопа ему поперёк
естества или — попросту — по барабану.

Жизнь обмякла, а слава не произошла,
не вошла в ежедневный набор провианта.
...Осыпает цветы мушмула. И пчела
собирает нектар в бороде у Бианта.

* * *

Задаваки-французы, вредины-англичане...
Что бы русский ни сделал, всё им не по нутру.
Всякий раз, проигравшись, барин вставал в печали.
Гувернантку привычно пользовал поутру.

Ни словечка мамзель по-русски: что за блаженство!
Ну, вертлява, тоща, но знает в забавах толк.
И к чему болтовня? Ей-богу, довольно жеста,
чтоб она поняла: в любви неуместен торг.

Но уже через год, бледнея, тряся от злости
папилютками, дворню визгом сводя с ума,
пустельга, финтифлюшка — кожа одна да кости:
«Самодур! — верещала. — Скрыга! Мешок дерьма!»

Занавеску слегка отдёгнув, зевая сладко,
он смотрел, как щенок барахтается в грязи.
В колокольчик звонил. И кучеру Фролу кратко:
«Запрягай», — объявлял. «Что, барин, везти?» — «Вези».

Из натопленной кухни хлынув толпой наружу,
не скрывая злорадства, челядь следила, как,
поднимая подол, мамзель бороздила лужу
на своих ненадёжных, гнущихся каблуках.

Барин долго обедал. И, опрокинув чарку,
после коей из глотки тотчас: шур-р-рых, шур-р-рых,
думал: «Завтра, пожалуй, выпишу англичанку —
ох, непросто вдовцу воспитывать шестерых».

На закате

Народ разбредается. Море играет в молчанку.
Заезжий водила на камне оставил мочалку
и белый обмылок — мол, свет не без добрых людей.
Предвечный художник рисует своих лебедей,

слонов и жирафов. Топлёное небо. Сангина.
Славист иноземный в шезлонге читает Сапгира;
то бровью соболей поводит, то лыбится гот.
— А Блока слабо ли? — Ja, ja, — отвечает, — вот, вот!

И, кажется, дразнит: «Ну что вы! Да в этом ли горе?»
...В итоге сойдёмся на вязком яичном ликёре
(немецкое качество!) и украинском борще,
утратив надежду, что можно сойтись вообще.

В сердцах отмахнусь, как в трактире от мухи липучей.
Уж лучше, приятель, на этот зверинец летучий
глазеть зачарованно, головы в небо задрав, —
тут спор неуместен: жираф, он и в Кёльне жираф.

Так нет же, талдычит о русских корнях декаданса,
мол, Белый чудил, Мандельштам на дурняк обедался
пирожными... Баржа отходит, огнями дрожа...
И нет для реванша ни гонора, ни куража.

Нахохлился. Скоро: «Карету мне, — крикнет, — карету!»
С опаской глядит на шестую мою сигарету,
глядит с омерзеньем на косточки вишен в песке.
Тревожная жилка пульсирует в левом виске.

И надо б загладить пустую размолвку на пляже.
Но слово буксует, а мысль, заблудившись в пейзаже,
обмякла и сникла, как вялая эта волна,
что даже обмылок не в силах слизать с валуна.

* * *

Два твоих тёмно-серых вблизи
расплывались в единое око.
Налетая с востока,
ветер мят жалюзи.

От стекла отслоившийся свет
колебался полосками пыли.
Второпях не купили
хлеба и сигарет.

К животу прилипая, живот
крупно вздрагивал пойманной рыбой.
Либо дождь окроплял меня, либо
твой взыскующий пот.

Паутиной окружность ведра
оплетали домашние мойры.
Запах моря и мойвы
заплывал со двора.

...и когда, прошуршав по траве,
шумно взмыла залётная стая...
...и когда мы распались на две
створки, словно ракушка пустая, —

ты на влажные бёдра, спеша,
натянул полинявшие джинсы,
словно заново сжился
с мыслью, что хороша

жизнь, прищуром июньского дня
соблазнившая выйти за пивом...
а проснуться счастливым
можно и без меня.

* * *

Ну конечно, простила. Прощу. А к тому же
там, где солнце печёт,
о чужом, на побег не решившемся муже
размышленья не в счёт.

Пляж накрыли гортанные вопли скандала —
жирных чаек ревком.
Что голодное время костяк не сглодало —
утешенье не в корм.

И пока из воды суетливая муттер
извлекает сына,
можно оком ловить и взбесившийся скутер,
и его седока.

И пока напознает с пугающим креном
туча в чёрном плаще,
можно думать о вечном, а можно — о бренном,
например о борще,

или мысль — ничего дотянуть не умея
до последней главы —
отпустить, как воздушного красного змея,
в пустоту синевы.

* * *

Речь на паузы дробил. Чистил ножиком ранет.
Человеков не любил, говорил: хороших нет.
Взгляд его — безглаголитивно пуст — проходя меня насквозь,
упирался прямо в куст ежевики или в гроздь
изабеллы. На плече света ёрзало пятно.
Наплывало время «ч», в коем честно и черно.
Там никто уже не брат никому, не свят, не прав.
Там наводит автомат на иакова исав.
Смерти беглый аудит. В раскуроченном дворе
кукла страшная сидит: муха роется в дыре
балаклавы. Шаг назад — и на линии огня
я узнаю этот взгляд — неизменно сквозь меня —
в неподвижности зрачка отразивший, как в стекле,
каплю красного жука на расколоте стволе.

* * *

Толчея у причала. Английское «shit».
Итальянская шляпка с полями.
Можжевельный воздух ветвится, шуршит,
наудачу шмалает шмелями.

Угол душевной столовки, где слойки пекут,
второпях окропляет борзая.
Оживляется пляжа цветастый лоскут,
человеками к морю сползая.

Но опять эта тётка в мужском пиджаке
кукурузные носит початки,
словно заяц петляя, на влажном песке
оставляя подошв отпечатки;

огибая прилежно подстилки, ряды
топчанов, чтоб народ не ругался;
источая прилипчивый запах беды.
— Чьих она? — Говорят, из Луганска.

Вот, на корточки сев, достаёт мужика,
безответного, с баночкой колы.
Нависает, как туча, бормочет: «Сынка
по кускам выносили из школы».

Что мы ей — представители ОБСЕ?
Своего нам достаточно мрака.
Всем же видно, что тётка слегка не в себе.
Тут курорт, а не дурка, однако.

И ещё неизвестно, чего натворит.
Ну ей-богу, за что нам такое?
— А рука-то была не его... — говорит. —
Так с чужой и зарыли рукою.

День Военно-морского флота

Отбрав жену, сосед нырнул в кусты
с бутылкою «Метаксы».
За флигелем драчливые коты
бранятся по-китайски.

Бесшумный нетопырь — то вниз, то вверх.
Жужжит ночная трасса.
У школы запускают фейерверк
два местных лоботряса.

Курортники сражаются в деберц;
сквозь праздничные залпы
доносится: минелла, белла, терц.
«Цыганщина!» — сказал бы

один поэт. Не зря же из райка,
грозящего попойкой,
ты вырван, как страница дневника
с большой и жирной двойкой.

Но размышляешь, прячась меж ветвей
живучей ежевики,
что было бы верней зайти с червей
тому, кто ходит с пики;

что ты ловил удачу, как юнец,
рванувший в самоволку,
а мир ловил тебя и наконец
зубами взял за холку.

И вот висишь над грудой кирпича,
над пыльным базиликом,
ножонками беспомощно суча,
давясь беззвучным криком.

* * *

Потому-то петух так бодро орал с утра,
что в кладовке не шарил вечером, не мешал
самогоночку с пивом в таре из-под ситра,
на сквалыгу-жену не жалился корешам;

не ломился к Наташке с рёвом: «Хочу любви!»
Запотевшие двери не выбивал в парной.
Не валялся в ментовке, липкое на брови
в темноте осторожно щупая пятернёй;

не тащился под утро через холмы в село
по верблюжьей колючке, по чабрецу — босой,
размышляя о том, что нынче ему свезло,
а сегодня — среда и сейнер придёт с хамсой;

что женился по дури, вот и вези теперь,
исправляй свою карму, как наставлял Витёк.
Не вопрос. Но сперва — Натахе наладить дверь,
потому как — вдова, а ейный кобель утёк;

что обломок скалы торчит, как подгнивший зуб, —
говорил же Витьку: туда под балдой — ни-ни;
что горластый прохвост пойдёт прямиком на суп...
...а чего они все? Ну правда, чего они?

* * *

Полон рыбы твой водоём. Поля твои — не пустые.
Даже блохи на псе твоём — заведомо! — золотые.
Больше мяса в твоём борще. А чайник твой без огня
закипает. И вообще ты трижды умней меня.

И внутри я тебя черней и хуже тебя снаружи.
По ночам и звезда крупней в твоей расцветает луже.
И покуда мой неуют вылавливает беду —
словно ангельский хор, поют лягушки в твоём пруду.

Намекни лишь — и присягну, что, как неразумный Крым, я
бесполезно иду ко дну, а ты расправляешь крылья,
набирая ту высоту — декретов и санкций вне, —
до которой не дорасту — куда уж ничтожной мне!

Распишусь на любом клочке и кровью вдогонку капну:
я — червяк на твоём крючке, я — корм дуралею карпу,
я — вместилище пустоты, софору сухой стручок —
что захочешь. Но только ты в меня не вперяй зрачок,

бормоча, утирая пот, упорно идя по следу,
словно я сорвала джекпот, отняв у тебя победу,
и оставила без гроша, и двор оплела травой,
и у пса твоего парша, и борщ без наваря твой.

* * *

Погибший на живого смотрит сверху:
ну, что он там?.. узнал уже?.. скорбит?
А тот сухую спиливает ветку,
кастрюлю подгоревшую скоблит.

Живой спешит: он ждёт приезда сына.
Посадка в пять да плюс машиной час.
А ты ещё не брился, образина,
и к ужину чекушку не припас.

По летней кухне мечется: бутылки —
под стол; окрошку — в погреб на ледок.
Но замирает, чувствуя в затылке
какой-то непривычный холодок.

С чего бы? Целый день жара под сорок:
что в доме душегубка, что в тени.
...уже, должно быть, въехали в посёлок...
Просил же: сядешь в тачку — позвони.

И шлёпанцем цепляется нехстати
за спиленную ветку алычи.
А сын ему: включи мобильник, батя!
Нет, не включай. Нет, всё-таки включи.

* * *

Уступи лежак захмелевшей паре,
что кругами ходит, грозя войной.
Пляж трещит цикадами: «Харе, харе».
«Кришна, Кришна», — море шуршит волной.

Уступи им пирса сырую плитку.
Не впервой тебе потешать народ,
принимая всех, кто твою калитку
наобум толкнёт, убегая от.

Сколько их застряло в сезонном быте,
где паук в пылу смертоносных па
мотылька вращает на липкой нити —
сам себе Нуриев и Петипа!

Уступи им глину заросших соток
с отпечатком чётким твоей ступни.
Под орехом стол, петушиных глоток
хориямбы хриплые — уступи.

Всё равно ведь кончится беспределом,
переделом, пьяной пальбой в ночи.
Но покуда в чистом сидят и белом —
проскочи к воротам, отдав ключи,

чтоб, сияя бритой башкой на фоне
синей тучи, ливнем набухшей тьмы,
уменьшаться, путаясь в балахоне
цвета перемолотой куркумы.

Начало осени

Еремеич, как прапорщик на поверке,
топчется у ворот,
сгоряча подрядившись безмужней Верке
вскапывать огород.

В ненадёванной, лучшей своей рубашке
(Турция как-никак!),
он кулёчек дешёвых конфет «Ромашки»
мнёт в трудовых руках.

— Чё, жених, тормознул? — он краснеет густо,
но не отводит глаз
от заразы, что ловко сечёт капусту,
горкой сгружает в таз,

хорошо посолив, набивает плотно
в банки. Уйдя в пике,
златоглазка на миг прилипает к потной,
гладкой её щеке.

...Он копает, рыхлит, конопатит щели.
— Что ещё? Говори.
А у Верки горят на красивой шее
тёмные янтари.

Так и тянет... Но зыркнет — училки строже —
руки, мол, придержи.
Ну и ладно. Одно донимает: кто же
ей наточил ножи?

Витька, что ли, по прозвищу Хари Кришна,
приторный, как цукат?
Еремеич вздыхает: цикад не слышно.
«Нет, — говорит, — цикад».

И, в надежде на борщ, размышляет, грустный:
стопочку или две?
Головой Олоферна кочан капустный
катится по траве.

* * *

День длился, словно «Калевала»,
холодным светом озаряем.
Между забором и сараем
акация околевала.

Что иероглиф на скрижали,
чернел паук на блочной плитке.
И волны, вздыбаясь, подражали
то Айвазовскому, то Шнитке.

В кофейне подавалась водка.
Затылки утеплялись фетром.
Но режиссёрская находка
дождя расстраивалась ветром.

«И я тут был», — напишет кто-то,
плутавший в перелесках лета,
свою мучительную ноту
изъяв из общего квартета.

Но даже он за столик шаткий
присядет, подчинясь картине,
чтоб из окна взирать украдкой
на мокрый пурпур в паутине.

Мы жили ничего не знача,
не различая, только вторя.
В семнадцати шагах от моря
никак не продавалась дача.

Закрывая дачу

Лишние чашки (всяк выбирал свою)
прячу в коробку: Света, Андрюха, Стас.
Всё, что сгребало лето, лепя семью,
осень смолола, переведа в запас.

Я подгоняла сонных: «А ну, а ну!» —
запахом кофе, чая из местных трав.
Где, на каком кордоне моё «ау»
ждёт растаможки, в очереди застряв?

Лишь богомол на самом краю листа
плоской башкой качает, ловя баланс.
Беглые друзья, совесть моя чиста:
даже не треснул этот фарфор-фаянс

с вишней, собачкой, брызгами конфетти.
Упаковать. Бечёвкой обвязать.
Я отпустила всех, кто хотел уйти.
Я отдала им всё, что хотели взять.

* * *

В непросохших предместьях побагровели склоны.
Эшелоны, колонны. Смутные времена.
Как десантники, вдоль дорог затаились клёны,
маскируясь под осень, — это её война.

И хотя небеса уже не палят из пушки,
не плюются шрапнелью и не рычат «виват!» —
городских тополей обглоданные макушки
говорят нам о том, что произошёл захват.

Оголив провода, пернатые дали дёру.
А на площади, выполняя чужой заказ,
в жёлтых бронежилетах мрачные мародёры
выметают, сгребают, жгут золотой запас.

Ты представить не можешь, сколько уже народу
бестаможенно и безвизово утекло
в тот спасительный край, где зим не бывало сроду,
где не платят властям за воду и за тепло.

Там на правом холме поют, а молчат — на левом.
Но и те, и другие в курсе, что всяк любим.
Там ягнёнок и лев под вечнозелёным деревом
спят в обнимку, а после — дружно жуют люпин.

И когда я рвану туда, побросав манатки, —
перекатная голь в облезлом товарняке, —
сдаст меня пограничник в плохонькой плащ-палатке
небожителю с полосатым жезлом в руке.

Я, наверно, примкну к молчаливикам, ибо в школе
к хору близко не подпускали меня... А ты
не кури натошак, не пей в одиночку, что ли.
И, пожалуйста, раз в три дня поливай цветы.

* * *

Александр Леонтьеву

В коричневой форме и фартуке чёрном
тащи́лась на лобное место, дабы,
позорно бледнея, решать обречённо
задачу про две окаянных трубы.
В одну поступает бесценная влага,
в другую — уходит. Сюжет на доске
изложен, а дальше настолько ни шага,
что мела обмылок вспотел в кулаке.
...Как тупо топталась, как нервно зевала,
одно представляя в трясучке стыда:
что вдруг из бездушного резервуара
меня милосердно выносит вода,
как некую щепку, лишённую веса, —
к оврагу в наплывах плюща и хвоща;
в сентябрьский, запутанный синтаксис леса,
в шуршащие «ша», в шелестящие «ща»;
к морщинам дубов, где мерещится порча
зануд-короедов; затем — по витку —
налево, где, шляпками иглы топорща,
рассыпались рыжики по сосняку.
Какая в извилистом, влажном овраге
свобода! Дрейфуй, навигатор, плотней
приклеившись к мокрой шершавой коряге,
покуда вода не иссякнет под ней
у края обрыва, где сонная осень
забрызгала красным сухой бересклет.
И можно, как в сказке, удариться оземь
и стать человеком двенадцати лет,

чью грудь распирает восторг беспричинный.
И жарко... И куртка сползает с плеча,
в кармане пригревшая нож перочинный,
что выменян был на жука-рогача.

* * *

А ещё с четверга на пятницу снится вдруг,
из глубин извлекая нычки мои, заначки,
Вовка Дьяконов, что легко мне решал задачи
на контрольных, подолгу дулся на слово «друг»;
на скуле, словно орден, гордо носил фингал,
схлопотать за меня считая священным правом;
по хрустящему снегу в госпиталь прибегал
налепить на стекло тетрадный листок с корявым
«Я люблю тебя». Физик, въедливый эрудит
с неразборчивым почерком гения-одиночки,
теребит костяную пуговицу, глядит
мимо заспанной тётки в тёплой ночной сорочке,
что достанет сейчас вопросом: «А как нашёл?» —
бестолковой заботой, нервной, дурной зевотой.
Ты не трусь — не спрошу. Я знаю, что алкашом
был, во сне захлебнулся собственной блевотой,
а сюда залетел вслепую и вопреки,
потому что, смахнув при выносе том Шестова,
санитар в толкотне твои раздавил очки.

Ты носил их с восьмого класса, а я — с шестого,
запотевшие знаки считывая с доски.

* * *

Где старый недруг? Сгинул. А бесценный
возлюбленный, твоё второе «я»?
Уже и он давным-давно за сценой,
за освещённой сценой бытия.

Он пьёт вино и шепчется не с теми,
кому открыты боль и благодать.
А ты нет-нет, а вслушаешься в темень:
а вдруг вернётся реплику подать?

Напрасно ждёшь. Но в полутёмном зале,
что шевелит гардину сквозняком,
ты на мгновение встретишься глазами
с полубезумным, тощим чужаком.

Он просто так забрёл сюда, погреться.
Его проспал дежурный на посту.
Но и на это можно опереться,
когда губами ловишь пустоту.

* * *

У него белоснежная спальня, где три окна
с видом на море. Скрипит по ночам сосна.
Каждый вечер его в коляске вывозит к молу
плосколицая тайка, надцатая жена.
Но он хочет назад, в Гоморру.

«Вздор! Гоморре капец, — ему говорят, — окстись!
Все твои кореша давно переплыли Стикс.
Да и сам ты усох, как мумия богомола».
Кормят с ложки протёртым супчиком. Но старик
головой мотает, переходя на крик:
«Нет! Жива Гоморра!»

Машет лапкой в пигментных пятнах: мол, врёте, есть
коридор общаги, комната двадцать шесть,
где жила зимой подружка его с Алтая,
по холодному полу шлёпала босиком,
на спиртовке варила кофе свой с каймаком,
рыжая, аж золотая.

«Ты простынешь, — он говорил ей, — халат надень».
Зарастало стекло морозом. И каждый день
приносил им дурные новости из котельной.
Утром в чашке ледком позвякивала вода.
И тепло им было только во тьме, когда
он ловил губами крестик её нательный.

К счастью, тайка не знает странного языка.
Но она притерпелась к выходкам старика;
и когда он опять заводит: «Хочу в Гоморру!» —
вытирает ему салфеткой слюнявый рот,
из комода привычно памперсы достаёт
и кивает: okay, tomorrow.

* * *

Видно, здорово напился, убаюкивая дух,
коль не хипстера на пирсе видишь ты, а сразу двух.
Это прям какой-то Пратчетт. Клацнув дверцами тойот,
глупый хипстер робко прячет, умный — смело достаёт,
чтоб, торча в чужой палатке с гордой надписью «Надым»,
ты ловил ноздрями сладкий электронной цацки дым.
Не впервой курить вприглядку бездоходному тебе,
на челе сгоняя в складку мысль о классовой борьбе.
Не впервой слезой давиться пересекашему Сиваш.
Всё плывёт и всё двоится: крымненаш и крымневаш.
И маячат беспартийно — между миром и войной —
цвета местного портвейна два светила над волной.
Ты и сам давно раздвоен: у тебя внутри мятеж,
перестрелка, смута, зрада, разорённая страна,
где один — Аника-воин, а другой — а ну-ка врежь,
и обоим вам не надо ни победы, ни хрена.
Потому что в этом гуле, продолжающем расти,
ты боишься, но не пули — страшно резкость навести
на окрестность, где отсрочка от войны лишает прав,
и никчёмный одиночка видит, голову задрав,
как меж бездною и бездною, рассекая темноту,
хипстер движется небесный с огнёмётом на борту.

Шествие

Если тебе велят — влево, а ты направо
топаешь в аккурат —
не сомневайся, брат, это ещё не слава
и не свобода, брат.

Правду ори свою рэпом или былинным
слогом, но посмотри:
ты всё равно в строю, непоправимо длинном,
ровного рва внутри.

Вот и гадай, как лох: пафос, а может, лепет?
Прятаться или сметь?
Гиппиус или Блок? Быков или Прилепин?
Родина или смерть?

Вверить спешат толпу ратники и сиротки —
всяк своему божку.
Хуже всего тому, кто семенит в серёдке,
в плечи втянув башку.

С кем ты — спеша, скользя? — мне за тебя тревожно.
В тот ли вписался ряд?
Притормозить нельзя. Выбраться невозможно.
Разве что — в небо, брат.

Содержание

«Когда исправно кормишь голубей...»	3
Ноябрь	4
«Не умела утешить словом...»	5
Пейзаж с кирпичной стеной	6
«Не умеешь выжить — ползи в собес...»	7
«В узких окнах — завитками вытканый мороз...»	8
«И трудно до Бога слезу донести...»	9
Тайная вечеря	10
«Говорил же мой дядя...»	12
«Ну ладно — что сказали, то сказали...»	13
Поезд Киев — Харьков	14
«потому что не топят, а стужа — всерьёз...»	16
«Утром, помятый и жёлтый, как воск...»	17
Переписка	18
«В общем, спрашивать не с кого...»	20
Снеговик	22
«Сосны тёмным полукругом...»	23
«Если страх — какого тебе врача?...»	24
«Разглядишь (стекло, где опять зима)...»	25
«Непостоянство вещи. Её разлад...»	26
Приготовление ужина на закате солнца	27
Лифт	28
«Мы уже на верхнем, кажется, этаже...»	30
Считалка	31
Когда-то	32
«Ты меня не забудешь, не сомневаюсь в этом...»	34
Форум русистов	35
«Почему им, Всевышний, всем по ночам не спится?...»	36
«Шумные, словно античные боги...»	37
«Но ещё ты спал под лепет ависаги...»	38
«Что сегодня за день?...»	40

«Задаваки-французы, вредины-англичане...»	41
На закате	42
«Два твоих тёмно-серых вблизи...»	44
«Ну конечно, простила...»	46
«Речь на паузы дробил...»	47
«Толчея у причала. Английское “shit”...»	48
День Военно-морского флота	50
«Потому-то петух так бодро орал с утра...»	52
«Полон рыбы твой водоём...»	53
«Погибший на живого смотрит сверху...»	54
«Уступи лежак захмелевшей паре...»	55
Начало осени	56
«День длился, словно “Калевала”...»	58
Закрывая дачу	59
«В непросохших предместьях...»	60
«В коричневой форме и фартуке чёрном...»	62
«А ещё с четверга на пятницу снится вдруг...»	64
«Где старый недруг?..»	65
«У него белоснежная спальня, где три окна...»	66
«Видно, здорово напился, убаюкивая дух...»	68
Шествие	69

Ирина Евса. Лифт

редактор:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 20.03.2017

Формат издания 60х90/16. Усл. печ. л. 4,5

Тираж 500 экз.



Ирина Евса родилась и живёт в Харькове. Детство провела в Белоруссии, где служил отец. В 1987 году окончила Литинститут им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Знамя», «Радуга», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Человек на земле», в альманахах «Стрелец», «Союз Писателей», в различных сборниках и антологиях. Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичибабина, премии журнала «Звезда», Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого, Русской премии, Международной Волошинской премии и других. Член Национального союза писателей Украины и международного Пен-клуба.